

ватель и тот субъект, чья психика изучается, не совмещены в одном лице, непосредственно эти психические феномены не наблюдаемы. Что же наблюдаемо? Эмпирическая данность в обоих случаях — это человеческая деятельность. Для языка соответствующий фрагмент этой эмпирии четко выделен — это речь, и именно выделением речи как эмпирической данности для изучения языка возмещается в лингвистике XX в.

Что же является тем фрагментом эмпирии, который следует избрать для изучения мышления? Здесь мы получим столько ответов, сколько сумеем насчитать психологических школ и направлений. Уже из этого ясно, насколько более гносеологически «выгодной» является позиция лингвиста по сравнению с позицией психолога: лингвисту заранее известно, что надо наблюдать, чтобы изучать язык¹. Психолог находится в несравненно более сложном положении: далеко не всякие аспекты человеческой деятельности, не всякие поведенческие акты могут рассматриваться как подходящая эмпирия для изучения мышления. Например, если за эмпирическую данность взять условно-рефлекторно обусловленные поведенческие акты, то, сколько ни усложняй цепочку таких актов, они не составят эмпирического материала для изучения мышления [1, с. 16].

Следовательно, одна из центральных трудностей при экспериментальном подходе к проблеме «язык и мышление» состоит в отсутствии параллелизма при выделении объекта исследования: что значит изучать язык в эксперименте — понятно, потому что понятно, что именно для этого надо наблюдать; однако, что значит изучать мышление в эксперименте, уже куда менее понятно, поскольку надо еще решить, что для этого надо наблюдать. (Заметим, что до отношений между языком и мышлением мы еще не добрались.) Сказанное может быть воспринято как тривиализация проблемы. Но чтобы иметь шанс на экспериментальное изучение проблемы, необходимо сформулировать ее в терминах наблюдаемых величин — наблюдаемых хотя бы в принципе. «Тривиализация» (термин Л. Д. Ландау) и позволяет выяснить, удовлетворяет ли постановка проблемы принципу наблюдаемости. Но здесь нас ждет другая трудность: как толковать принцип наблюдаемости применительно к наукам о человеке? Ведь, как уже отмечалось, непосредственно наблюдать можно либо *свою психику*, либо *чужую деятельность*. Наблюдая свою психику, свое языковое сознание мы, с одной стороны, наблюдаем именно то, что нас интересует, но, с другой стороны, в самом процессе изучения мы изменяем объект исследования и подменяем его другим.

Наблюдая чужую деятельность с целью узнать нечто о психических феноменах, мы наблюдаем не то, что нам и в самом деле интересно, а то, что нам доступно. Ни язык, ни мышление нам в эмпирии не даны, их еще предстоит оттуда «извлечь». С этой целью в случае самонаблюдения мы пользуемся интроспективными и рефлексивными процедурами, которые в разное время существования лингвистики и психологии признавались как научными методами, так и донаучными, а кроме того еще и вненаучными. Но и в случае наблюдения за «чужим» поведением, где, казалось бы, все исследовательские процедуры более «объективны», мы тоже не можем обойтись без рефлексии и интроспекции, хотя это и менее очевидно [см. 7]. Оценка того, что на данном этапе существования науки следует считать разумным, собственно научным методом наблюдения и эксперимента, определяется господствующими в соответствующий период времени общими познавательными установками. Именно различие в точках зрения на то, что такое вообще метод, эксперимент, соответствие между наблюдаемым и ненаблюдаемым и обуславливает подчас невозможность диалога между учеными разных школ. Остается только сожалеть о том, что

¹ Ср. приводимое В. Гейзенбергом («Природа», 1972, № 5, с. 87) высказывание А. Эйнштейна: «С принципиальной точки зрения абсолютно неверно, будто теория должна основываться на наблюдаемых величинах. В действительности все обстоит как раз наоборот. Теория лишь решает, что именно можно наблюдать».